

Александр Куприн

С улицы



Александр Иванович Куприн

С улицы

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2474195

Аннотация

«Да, совершенно верно. Это вы совершенно правильно определили, господин... извините, не имею высокой чести знать ваше имя, отчество... Главная причина, отчего я погиб и теперь так низко пресмыкаюсь, – это слабость моего характера. Так и присяжный поверенный объяснял на суде, когда меня судили...»

Содержание

I	4
II	12
III	20
IV	27
V	39
VI	47

Александр Иванович Куприн С улицы

I

Да, совершенно верно. Это вы совершенно правильно определили, господин... извините, не имею высокой чести знать ваше имя, отчество... Главная причина, отчего я погиб и теперь так низко пресмыкаюсь, – это слабость моего характера. Так и присяжный поверенный объяснял на суде, когда меня судили. «Перед вами, господа присяжные заседатели, яркий пример физического и нравственного вырождения на почве наследственного алкоголизма, плохого питания, истощения и дурных болезней». Перед этим меня трое профессоров осматривали, и они то же самое сказали в один голос. Я тогда же эти слова занес себе в записную книжку. Потому что, должен признаться: я хоть и потерял облик и подобие интеллигентного человека, но люблю людей с образованием и уважаю науку.

Поглядев на меня, вы ведь, конечно, не скажете, что сей самый, сидящий перед вами субъект тоже в свое время стоял на хорошей дороге и мог сделать себе имя и карьеру. Но

это поистине так. Выразюсь символически. Тут есть на Пересыпи один трактирчик, под названием «Ягодка», с правом крепких напитков, самый – извините – вертеп. И в этом трактире висят за буфетом две картины, вроде как бы указание или напоминание, если кто еще в трезвом виде. На одной изображен некий оборванный мужчина, скажем, вроде меня; спит в грязи под забором, и тут же рядом хрюкает свинья. И подписано: «Мог бы быть человек» с восклицательным знаком. А на другой картине написано: «Покупал за наличные, – покупал в кредит», и нарисованы два индивидуума. Один худой, обдерганный, штаны снизу собачки обкусали, схватил себя за голову, и глаза у него наружу вылезли – это который в кредит. А другой сидит к нему задом, этакий, знаете, толстый буржуй с бакенбардами, развалился с сигарой и смеется, а перед ним касса, и вся набита золотыми столбиками. Картины эти – лубочные, дешевка, и я сам по торговой части никогда не занимался, но внимания заслуживают. Потому что это вроде намек на мою собственную жизнь. Ха-ха! Буфетчиком там Вукол Наумыч. Жестокий старик. Я ему раз говорю: «Ты бы, Вукол Наумов, заказал бы еще и третью картину нарисовать. Как будто бы этот общипанный схватил этого самого банкира одной рукой за манишку, а другой рукой нырнул в несгораемую кассу. А внизу подпись: „И что из этого вышло“». Но конечно, буфетчик шуток не понимает. Я ему сказал просто для аллегии, а он хотел городского кричать. Что как будто бы я его самого угрожал таким спо-

собом. Известно – хам.

Про третью картину, то есть это про мою фантазию, я вам, милостивый мой государь, не напрасно сделал пример. Потому что я сам однажды попробовал такой практикой заняться, и через это вычеркнут из списка жизни. Слава еще богу, что коронный суд, с участием присяжных заседателей, признал меня в состоянии невменяемости и отпустил на свободу. А то пришлось бы мне идти добывать «медь и золото» в местах столь отдаленных.

Если уж к этому подошло, то, позвольте, я лучше все по порядку. Вы меня извините, господин, но по вашей внешности и по разговору я всего скорее заключу, что вы, должно быть, сотрудник. Ну, что ж, может быть, моя автобиография пригодится вам для воскресного фельетона или для популярно-научной статьи. Я с удовольствием. Например, озаглавьте: «К вопросу о том, как некоторые личности бестолково устраивают свою жизнь». Или, еще лучше – просто: «Исповедь преступного типа». Можно, кстати, вас разорить еще на парочку? Только уж позвольте спросить обыкновенного, за восемь копеек. Оно по крайности без глицерину. Эй, псст! чижик!.. Пару пива. Чего ты смотришь, дурак, как козел на новые ворота? Это барин угощают. Не видишь, кому служишь, болван?

Не доверяет, холуй. Правда, я здесь как-то однажды большой тарарам наделал. Ну, кроме того, и экипировка моя. Знаете, как в «Гранд-отеле» одна шансонетка поет:

Арри-ги-налиный мой костюм,
Блестящий мо-ой наряд,
Тара-тара, тири-тири...

Слушаю-с, господин буфетчик. Виноват, сам знаю, в таком месте и вдруг – куплеты. Не буду больше, молчу. Да. Так вот. Вы меня извините, пожалуйста, господин. Если по-настоящему рассуждать, то я с вами и в одной комнате быть недостоин. Кто вы – и кто я! Но вы чувствуете сострадание к человеку, убитому судьбой, и даже не побрезговали посадить с собой рядом. Позвольте, я вам за это ручку поцелую. Ну, ну, ну, не буду... Не сердитесь, извините.

Да. Так вот. Давеча я вам назвался бывшим студентом, но это все неправда. Просто увидел, что вы – человек интеллигентный, и думаю: он всего скорее клюнет на студента. И стрельнул. Но вы обошлись со мной по-благородному, и потому я с вами буду совершенно откровенно... Был я в университете только один раз в жизни, и то на археологическом съезде, когда служил репортером в газете. Был, не утаю, сильно намочившись, и что там такое бормотали, ничего не понял. О каких-то каменных бабах какого-то периода...

Однако позвольте вам заметить, я все-таки не без образования. Помилуйте, до сих пор помню: Алкивиад был богат и знатен, природа щедро наделила его умственными способностями... и там еще про собаку, как он ей отрубил хвост... исключения на is и все такое прочее...

Отец мой был обойщик и драпировщик, имел собственную мастерскую в Кудрине, в Москве. А мать я плохо помню. Помню только, что была она женщина толстая и с одним глазом, а другим все как будто подмигивала кому-то. Помню еще, но это уж точно во сне, как ее при мне обнимал наш старший мастер Шикунов и говорил: «Ничего. Андрюшка маленький, он ничего не понимает, вот мы ему копейку дадим...» Пили они, должно быть, шибко, мой папаша с мамашей, – всегда от них вином пахло, – и лупили меня чем попало, как говорится: палкой, скалкой, трепалкой. Воспитанием моим неглижировали¹, и рос я, как сорная трава, на улице и на дворе. Настоящим же моим воспитателем был наш мальчик-подмастерье; его звали Юшка.

Должен я вам сказать, видал я в моей жизни множество самых разных фигур. Достаточно того одного, что сидел в тюрьме. Но вот, ей-богу, такого безобразника и бесстыдника, как он, я ни разу не встречал. Чему он нас, мальчишек, учил, что заставлял нас делать там, за каретным сараем, между дровами, я вам даже не смею сказать – совестно. Ей-богу. А ведь был он сам почти ребенок...

Это еще пустяки, что курили, пили водку, играли в орлянку и в карты – налево, направо – и что я таскал у отца потихоньку деньги. Отец и сам по праздникам, когда у нас бывали гости, забавлялся тем, что накачивал меня допьяна и заставлял плясать... С Юшкой хуже бывало. Одиннадца-

¹ пренебрегали – от *франц.* *negliger*.

ти лет узнал я женщину; это было опять-таки на задворках, под руководством того же самого Юшки. Удивительно, право! Этот человек совсем исчез с моего горизонта, и я не знаю, где он: на каторге или его убили где-нибудь, как собаку... Но никто никогда не имел на меня такого адского влияния. Боялся я его до чрезвычайности. Поверите ли: даже теперь иногда вижу его во сне, будто он меня дубасит, и от страха просыпаюсь... За ваше здоровье! А вы сами? Нет? Ну, как изволите. Хорошо! Холодное.

Однако я тем временем подрос. Не знаю уж, какой чудотворец пропихнул меня в гимназию, в подготовительный класс. Думаю, что не обошлось здесь без барашка в бумажке, – сунули, должно быть, кому следует. Вот тут-то и началось хождение моей грешной души по мытарствам. В три года я, кажется, во всех учебных заведениях перебивал, в классических и реальных. Где учителю жеванной бумаги в карман насовал, где попался пьяным на улице. В одном месте у товарища украл коллекцию перышек... е цетера, е цетера², в том же роде.

Приду, бывало, домой – отец сразу по глазам видит. «Вышибли?» Я молчу. «Ах ты с... сын! Вот погоди, отдам я тебя в сапожники, тогда взвоешь. Ступай принеси веревку».

Наконец больше поступать стало некуда. Осталась всего только одна частная гимназия Хацимовского. Может быть, слышали? Зам-меч-чательнейшее было, доложу вам, учре-

² и так далее и так далее (*франц. et caetera*).

ждение, одним словом – замок чудес и волшебств. Какой-нибудь купеческий оболтус до пятнадцати лет голубей гонял, папу-маму без ошибки написать не может, а, глядишь, от Хацимовского лет через пять вышел с аттестатом зрелости. Это правда: сидели там в последних классах очень зрелые мужики, годов по двадцати пяти, – бородатые, почтенные люди. Про одного такого эфиопа рассказывали, что он в гимназию вместе с сыном ходил. Сын в приготовительный, а он в седьмой. И обоим им дома делали на завтрак бутерброды.

Помещали туда больше купеческих сыновей и дворянчиков – все исключительно тех, которых отовсюду уже вышвырнули. Деньги брали за учение солидные. И было это заведение вроде зверинца: архаровцы, скандалисты, обломы; все как на подбор – самые развращенные мальчишки. На учителях верхом ездили. Ну, уж и учителя у нас были! Такие гуси!..

У Хацимовского я окончательный лоск получил. Но и оттуда меня в скором времени – фить! За что? Да за разное. Длинная история. Началось это с того, что отобрал у меня надзиратель альбом этаких, знаете, карточек со стихотворными пояснениями моей собственной музыки, ну и так далее... Что вспоминать! Пассон³, как говорят французы.

Пришел я домой. Отец опять было за веревку, но увидел, что я сильнее его стал, и осекся, – стоп! Рассердился очень.

– Одна, – говорит, – тебе дорога осталась, орясина ты

³ Переменим тему (от франц. *passons*).

непутевая. Ступай в солдаты!

Поступил я вольноопределяющимся. Четыре года подряд держал экзамен в юнкерское училище, никак не мог одолеть бездны премудрости. Наконец надоела, должно быть, моя физиономия экзаменаторам, – пропустили.

Да из училища в полк обратно отчисляли три раза за всякие художества. Из училища был выпущен подпрапорщиком, протрубил в этом кислом звании два года и был произведен в офицеры.

II

Ну, о том, что я в офицерских чинах выкомаривал, не буду распространяться. Подробности письмом. Скажу коротко: пил, буянил, писал векселя, танцевал кадрили в публичных домах, бил жидов, сидел на гауптвахте. Но одно скажу: вот вам честное мое благородное слово – в картах всегда бывал корректен. А выкинули меня все-таки из-за карт. Впрочем, настоящая-то причина была, пожалуй, и похуже. Эх, не следовало бы. Ну, да все едино – расскажу.

Была у меня в полку любовница, жена одного офицера. Знаете: глушь, скверный южный городишко, тоска, грязь – только и было у нас у всех развлечения: служба – солдат по мордасам щелкать, да водка, да еще карты, да еще эти самые романы. И так мы усердно романсовали, что все, как есть, приходились родственниками друг другу. И никто в этом не видел ничего особенного. Так все и знали: такой-то живет с такою-то, а ее мужа застали с такой-то, а с ней живет поручик Иванов, а раньше поручик Иванов жил... словом – маседуан.

Звали ее Марьей Николаевной. Была она тоненькая, хрупкая, лицо, как у печального ангела, – худенькое, нежненькое, ротик маленький, розовый, блондинка, глаза большущие, светлые, голубые. Образованная. Кончила институт с медалью, играла наизусть господина Шопена, хорошей дворянской фамилии была и со средствами. Много у нас вокруг

нее народу вертелось, как тетеревей на току, но – никому ничего. А я, знаете, подошел и взял ее наглостью, да еще так нечаянно вышло это, что я и сам не ожидал. Двое детей у нее было, две девочки.

Делал я на пасху визиты. Собственно говоря, визиты – это просто был предлог для сугубого пьянства. Наймешь на целый день фаэтон и жаришь из одного дома в другой. Приедешь куда-нибудь, а там целый стол выпивки и закуски: барашки эти самые из сливочного масла, мазурки, бабы с розанами, ветчина в бумажных завитках, терновки, зубровки, сливовица. Трах, трах, рюмок пять-шесть хлопнул, наврал-наврал и поехал к следующим знакомым. «Ах, что вы, мы ни с кем не целуемся!» – «Нет, па-азвольте-с, какие же вы, барышни, после этого христианки? Не-ет. Даже и в Священном писании поется: друг друга обьемем, рцем»... и так далее. Программа известная.

Приехал я к Марье Николаевне уже под вечер. Сижу – и ничего не соображаю, что ем, что пью, что болтаю. Муж ее, подполковник, рядом храпит в спальне, тоже с визитов вернулся. Время такое серенькое было, не то день, не то вечер, на дворе дождик, скука, часы стучат, разговор не клеится. Тоска на меня нашла. Стал я Марье Николаевне про свое детство рассказывать, про Юшку, про отца, про веревку, про то, как меня из гимназии гоняли. И заплакал. И ведь как человек бывает подл, послушайте. Сам плачу, сморкаюсь, слезы у меня и из глаз и из носу текут, трясусь весь, рассказываю

красивой образованной даме самые грязные ужасы – уж, кажется, всю душу вывернул наизнанку! А ведь нет, – себя-то я все-таки в привлекательном виде выставил: что, мол, никем я не понятая, этакая возвышенная хреновина, вроде, что ли, Евгения Онегина; тяжелое детство, ожесточенная душа, ласки никогда не видел – чего я тут только не намотал. Гляжу, а она тоже плачет. Склонила, знаете, голову набок, руки на коленях сложила, глаза огромные стали, светлые, а слезы по щекам бегут быстро, быстро, быстро. Тут и подхватило меня. Слышу я, что муж рядом храпит, кинулся к ней и точно первый любовник в театре: «О! неужели ты можешь плакать? О ко-ом? Обо мне? О, эти святые слезы! Чем я искуплю их?» И уже мну ее руками. Не сопротивлялась она, ни одного слова не сказала – отдалась мне, как овечка. И лицо у нее все мокрое от слез было.

Узнал я тогда, что это за штука – власть над человеком. Сделалась Марья Николаевна с того вечера моей рабой. В буквальном смысле. Что хотел – то с ней и делал. И она мне потом часто сама говорила: «Да, я знаю, что ты негодяй; ты – грязный человек, ты развратник, ты, кроме того, еще маленький-маленький, подленький человечиска, ты алкоголик, ты изменяешь мне с самыми низкими тварями; ты всякой мало-мальски себя уважающей женщине должен быть омерзитель и физически и нравственно... и все-таки я люблю тебя. Я твоя раба, твоя собственность, твоя вещь. Если ты убьешь кого-нибудь, ограбишь, изнасилуешь ребенка, – от тебя ведь

всего можно ожидать, – я все-таки не перестану тебя любить всю мою жизнь. Ты – моя болезнь».

Подобные акафисты она мне нередко читала, а также писала в письмах, и я эти слова запомнил хорошо... И отчего это, скажите мне, – вот вы человек, видимо, образованный и начитанный, – отчего это так часто умные, милые, прекрасные женщины любят различных прохвостов? От противоположности, может быть? Ведь сколько, сколько я таких случаев видел в своей жизни. Вы думаете, она была какая-нибудь особенно страстная, Марья Николаевна? О, ничуть. Уступала всегда только моим настояниям, а то относилась ко мне, как мать. Не так, как моя родная мамашенька, которая меня произвела на свет, а по-настоящему: кротко, терпеливо, нежно, заботливо...

Да. Я говорил сейчас про власть, и, можете себе представить, стала мне Марья Николаевна до того противна, что и сказать нельзя. Измывался я над ней зверским образом: гнал ее от себя, когда приходила; назначал свидания и раз по пяти не являлся; письма ее – милые, ласковые, добрые письма – на диване, на полу у меня по неделям валялись нераспечатанными. Деньги я тянул у нес постоянно, на кутеж, на игру, а то и на женщин брал. И знаете, что я вам скажу? Философская мысль. Никакое зло на сем свете не пропадает. Если ты еще мальчишкой у жука крылья оторвал, то и это тебе зачтется и приложится. Господь бог нам всем, у себя наверху, двойную итальянскую бухгалтерию ведет: приход и расход – все

у него разнесено по графам. Впрочем, по Дарвину, бога нет. Ну, тогда – судьба, это все равно. И я твердо уверен, что если меня впоследствии, ух, как здорово по затылку стучало, то это за нее, за Марию Николаевну. Оборвал я ей крылышки, погубил ее, затоптал, загрязнил ее душу, и все это делал без пощады, и ее самое ненавидел до дрожи, до бешенства!..

Раз собралась у меня холостая компания. Пили, играли, пели, потом опять пили и опять играли. Я проферпшилился дотла. Посылал дважды денщика к Марье Николаевне за подкреплением и опять прогорал. Помню, во второй раз она мне прислала записку: «Дорогой мой, постарайтесь воздержаться от таких поступков, в которых завтра будете сами раскаиваться. И что бы ни случилось, помните, что у вас есть друг, который все для вас готов сделать». Я это письмо в сенах, когда принимал от денщика деньги, разорвал на мелкие кусочки и швырнул на пол.

Поручик Парфененко забрал все деньги, какие у нас у всех были в сложности, и вдруг заболел животом и убежал домой, потому что не хотел на мелок играть. А мы опять пить. Шли уже вторые сутки, без просыпу. Вот мы разговорились о наших дамах. У той ноги длинные, это хорошо, но зато худые очень: в платье красиво, а разденешь – швах. У этой родинка на пояснице. У другой словечки есть такие особенные, излюбленные, в тайные минуточки-то. Третья вот так-то целуется. Одним словом, всех разобрали до последней жилочки. Что нам стесняться в родном отечестве? Вал-

ляй!

Стали про мою спрашивать. А я в пьяном задоре и ляпни: да хотите, только свистну, и она, как собачка, сюда прибежит и все вам сама покажет? Усомнились. Я сейчас же, моментально, с денщиком записку: «Так и так, дорогая Мари, приходите немедленно, иначе никогда меня больше не увидите. И чтобы вы не думали, что это шутка или праздная угроза, то, как только приедет ваш муж, в тот же день все ему открою»... и слово «все» три раза подчеркнул.

Что вы думаете? Прибежала. Бледная, запыхалась, еле на ногах держится. Вошла и стала в дверях, оперлась о косяк, губы синие, как у трупа, зубы стучат. «Здравствуйте, Андрей Михайлович! Шла мимо, вижу, свет, думаю, не у вас ли муж? Боялась, как бы вы его в карты не засадили. Вы ведь такой совратитель». Словом, невесть что бормочет, точно в бреду; ведь всему полку известно, что муж ее поехал в округ принимать боевые патроны! Говорит и сама старается улыбаться, а глаза – огромные, синие – глядят на меня с ужасом. Ух, ненависть меня взяла на нее. «Раздевайся», – говорю. Сняла она тальму – руки так и ходят, точно у пьяницы. Поняла ведь она, поняла с первой же секунды, чего я от нее хочу. Сняла тальму. А я кричу: «Дальше раздевайся, снимай лиф, юбку долой!» Она и не моргнула даже, глаз от меня отвести не могла. Взялась за верхнюю пуговицу – расстегнула, стала вторую нащупывать, да сразу-то не найдет, пальцы прыгают. И ни слова, ни звука. Ну, тут товарищи вступились. Бы-

ли они все пьяные, озверелые, красные, опухшие, но их эта пантомима уязвила. До того уязвила, что, когда она ушла, – мы глядим, – подпоручик Баканов в обмороке лежит. Был он совсем зеленый мальчик, застенчивый, вежливый такой, приличнейший, хоть и пил крепко. Обещались они – и ей и мне – все сохранить в тайне, но где же удержаться. Сделалась история известна всему полку, и чаша моих злодеяний, выражаясь высоким штилем, переполнилась. Стали все на меня глядеть этаким басом, вижу – руку избегают подавать, а кто и подаст, так глазами шнырит по бокам, точно виноватый. Открыто не решались мне ничего сказать, потому что жалели Марью Николаевну. Как-то сразу тогда догадались, что здесь не романец, не пустая связушка от скуки, а что-то нелепое, огромное, больное – какая-то не то психология, не то психиатрия. И мужа ее жалели. Был он заслуженный шипкинский подполковник и пребывал и, кажется, до сих пор пребывает в сладком неведении.

И все ждали случая.

Как-то играли в собрании в ландскнехт. Игра – официально недозволенная в офицерском клубе, но на это смотрели – вот так! Подошел и я. Везло мне зверски в этот вечер, просто до глупости везло, но сердце у меня было какое-то тревожное, невеселое. И еще вот что странно: встретился я в передней с подпоручиком Бакановым, не поздоровались мы даже с ним, а только так, мельком взглянули друг на друга, но отчего-то сделалось мне вдруг как-то грустно и противно.

Обошел круг раз семь или восемь, наступила опять моя очередь держать банк. Положил я, как теперь помню, направо двойку бубен, налево короля пик и выметываю середину, раз, два, три, пять, девять, вижу – заметалась карта, и про себя твержу: «Заметалась – в пользу банкомета» – известное игрецкое суеверие. Наконец – хлоп! – выбрасываю двойку. Моя! Но – ведь какая судьба! – обмишулился: выпало сразу две карты. И вдруг слышу сзади: «Вы, подпоручик, кроме того, что негодяй, еще и шулер!» Я обернулся, а Баканов как швырнет мне целой колодой в лицо. И кто-то еще рядом по щеке ударил, и еще, и еще, – со всех сторон! Я кричу: «Господа, позвольте же! Что такое? Это недоразумение!» А мне кричат: «Вон из собрания! Выгнать его! Выбросить в окно! Шулер! Завтра же вон из полка!»

Вы понимаете: они не хотели Марию Николаевну скандалить перед всем обществом, и вот и придрались к случаю. Через два дня суд общества офицеров предложил мне подать прошение об увольнении в запас. Так и выкинули из полка, точно шелудивую собачонку... И поделом. Что ж... я справедлив: сам знаю, что заслужил. Ну... да, ничего... пассон! Еще пива? Благодарю, я не откажусь. Ву зот тре земабль⁴. Только мне как-то неловко все одному да одному...

⁴ Вы очень любезны (от *франц.* Vous etes tres aimable).

III

Чем я был потом? Вы спросите лучше, чем я не был. Та-кая пошла со мной кувырколегия! Был я десятником при устройстве канализации, был кочегаром в Азовском паро-ходстве, чертежником, коммивояжером, учеником у зубно-го врача, таскал кули на пристани, вот в этом самом горо-де наборщиком служил в типолитографии. Между прочим, в то время, когда был наборщиком, женился. По-дурачки это как-то произошло. Да все равно через полтора года я ушел и жену бросил с мальчишкой. Занятный был у нас ребяенок – ах, какая прелесть! Да я и вообще-то детей до безумия люб-лю! – детей и животных. И не было у нас при прощании ни-чего: ни ссоры, ни драки, ни измены. А просто меня в одно прекрасное майское утро потянуло в бега. Была, кроме то-го, у меня еще и другая мысль, что без меня еще жена как-нибудь устроится, а со мной все равно ей надо пропадать. И потому, «не говоря ни с кем ни слова, плащом прикрывши пол-лица», сунул я паспорт в боковой карман и фур-фур в другой город.

Был я потом певчим, служил в оперетке в хоре; послужил также и в драматической труппе, ампула мое было – простак и второй комик с пением. Послушником прожил в монасты-ре около года. Господи, всего и не упомнишь!

Из монастыря меня ловко турнули – в один момент! Был я

приставлен службой в монастырскую гостиницу. Ничего, весело жилось. Из кружечного сбора причиталось десять целковых в месяц, на всем готовом, да еще кое-какие доходишки были посторонние. Выпивали мы изрядно, и насчет прочего... Вообще – занятно. Лукавый-то, он всегда около святых мест бродит... Искушение! Летом к нам, к престолу, до тысячи баб стекалось, крестьянки больше, мещаночки, купчихи, мелкие помещицы, – всякие: и молодые и старые. Поразительно: нет для женщины больше сладости, как грешить и каяться, каяться и грешить. А уж тем паче, когда кругом этакая молитвенная обстановка, благолепие всякое, смирение, воздыхание, умиление... А попросили меня из святого места вот почему.

Висели у нас по стенам в гостинице этикие печатные листы: не молитвы, а так... стихотворное упражнение некоего отца Павсикакия. Озаглавлено было так: «Духовная борьба против невидимого врага». Я и теперь помню кусочками: «Брате, затвори с молитвою дверь, дабы не ворвался душевредный зверь... Разинет он греха огнепылающую пасть, а ты не медли кресты и поклоны класть... Тщится он ужалить тебя лености хвостом, а ты отгоняй его сокрушеньем и постом... Против его любострастья батарей – траншею воздержанья возводи скорей... Будет он пускать в тебя зависти картечь, но щитом тебе да послужит спасительная речь...» Итак далее, с гранатами и с бомбами, с патронами и пулями... А я как-то с одним гостиничным монашком, Прохором, уре-

зал муху да взял карандашом кое-где сверху строк и написал свои собственные рифмочки, вроде тех, извините, которые в известных уединенных местах пишутся на стенках. И совсем забыл об этом обстоятельстве.

А тут вдруг назначили к нам нового преосвященного. Приехал владыка в монастырь, все осмотрел, все благословил, остался очень доволен порядком. Наконец шествует в гостиницу, видный такой пастырь, осанистый, бородатый – не архиерей, а конфета! За ним отец игумен, отец казначей, отец эконоом, иеромонахи, вся соборная братия. И мы, гостиничные служки, жмемся вдоль стен и, аки некие безгласные тени, благоговейно трепещем.

Владыка вдруг спрашивает: «А это у вас что такое на стенах?» – «А это, – говорит эконоом, – у нас развешано для поучения темного народа... как бы в стихотворной форме». Подошел преосвященный, поглядел с минутку, потом повернулся к братии, весь красный от гнева. «Чей же грязный карандаш написал эти гнусности?» Обвел нас всех очами. Прозорливый был архипастырь: увидел, что на Прохоре лица нет, и тотчас в него перстом. «Ты!» Прохор – бац в ноги! «Прости, преосвященный владыка, был лишь свидетелем сего и, по слабости, не остановил. Писал послушник Андрей». Тогда владыка ко мне. «Если, говорит, в яблоке завелся червь, то вырезают сердцевину и отметаю, дабы не погиб весь плод. Завтра же убрать этого писателя из монастыря. Пусть упражняет свое скверное воображение в улич-

ных газетках».

И – что вы думаете – истинный провидец оказался владыка! Не прошло и трех месяцев, как, по воле судьбы, я действительно примазался к одной газетке – сначала корректором, а потом репортером.

Воздух там был легкий и веселый, ни грамоты, ни таланта не требовалось, дела делались больше по кабачкам, по кофейням, народ кругом тебя всё – аховый, тертый. Любо! Но и тут я сорвался. Такая моя участь.

Пропитывались мы все, по малости, разными вспомогательными путями. Например, в загородных садах, в кафешантанах около буфета. Упомянешь в десяти строках, что вот, мол, вчера мы видели вновь ангажированную неутолимимым хозяином «Гвадалквивира» мексиканскую этуаль⁵ Пузу-Лаперузу, являющуюся несравненной исполнительницей... ну и... кредит. Фельетонисты рекламировали, как будто мимоходом, гастрономические магазины, романисты водили своих героев в известные рестораны и так далее. Кормились мы также вокруг мировых судей. Привлекают булочника за то, что у него мастера спят на кадках, трактирщика тянут за грязь, бакалейщика – за сахарин, но больше всего булочников и кондитеров. А я сижу в камере на видном месте и нет-нет черкну что-нибудь в записную книжку. Ну, кому же лестно попасть в газетную хронику? А глазом-то я все-таки кошу вбок: вижу – мой булочник не уходит, хоть его

⁵ звезду – фр.

дело давно и кончилось, и все на меня с беспокойством поглядывает. Выжду я минут с десяток и совершенно неглиже, как будто у себя дома, выхожу из камеры. Он за мной. На улице таким сдобным голоском спрашивает: «А позвольте узнать, вы не репортер?» Я на него барбосом: «Репортер. А вам что?» – «Да так-с... хе-хе-хе-с!.. Вот и мое тоже сейчас дельце разбиралось, может быть, слышали?» – «Слыхал». – «И записали?» – «Записал-с». – «Эх, дела-то какие! А ведь совершенно понапрасну меня запротоколили... У нас, видите ли, околоточный... Да, позвольте, что же мы на улице стоим? Не угодно ли вам зайти со мной на минуточку... Здесь рядом есть ресторанчик... я бы вам все по порядку... Знаете, и время теперь такое, что на рюмку позывает. А тут замечательно готовят фляки по-польски. Право, не завернем ли?» Я моментально на себя строгость напускаю. «Да, пож-жалуй, я бы и сам, собственно говоря, не прочь, но только вперед уговор: платить пополам. У нас в редакции насчет разных угощений ни-ни!» Ну, конечно, уходишь из кабачка и сыт, и пьян, и четвертной билет в кармане.

Но повторяю, сорвался; сорвался потому, что кус не по себе заглотил. Был у нас в газете некий фрукт, вел он городскую хронику и писал воскресный фельетон. Прямо вам скажу – лев был, а не человек! Посудите сами, много ли на думе наколотишь да на двух тысячах строк фельетона? Ну, скажем, двести, триста рублей. А он лихача помесечно держал, обедал в «Бельвию» и у Бьянки, имел соержанку-фран-

дуженку, одевался – как царь Соломон во всей славе своей. Пил одно шампанское – так прямо к супу ему и подавали флакон. Словом, рвач был.

Вот он однажды в редакции отзывает меня в угол. Таинственно. «Слушайте, говорит, есть дело. Можно обоим заработать тысячу. Хотите?» – «Ну, как не хотеть!» – «Хорошо, так вот вам готовые цифры. Поедете к Дехтяренке. Знаете?» – «Знаю». – «Через две недели он объявит себя несостоятельным, но теперь для него страшно важно, чтобы никто не знал, в каком у него состоянии дело. А мне по некоторым причинам самому неловко. Понимаете?» И дал мне самую подробную инструкцию.

Приехал я к Дехтяренке. «Принимают?» – «Принимают». – «Передайте карточку». А на карточке у меня: сотрудник такой-то газеты, корреспондент такого-то столичного листка, ли-те-ра-тор и сверху еще, на страх врагам, дворянская корона! Выходит. «Имею честь с господином Дехтяренко?» – «Эге ж, я самый, що треба?» – «А вот, видите ли, собираюсь я написать целый ряд популярно-экономических статей по вопросам южной промышленности. Конечно, одно из самых крупных мест будет отведено вашей фирме, широкий район которой...», словом – воз комплиментов. Он ничего, слушает, молчит, здоровенный этакий хохлище, сивый, усатый, глазки маленькие, жуликоватые. «Все это так, говорит, а только какое же мое тут дело?» – «А вот, говорю, собрал я кое-какие цифровые данные, вот в этой самой

книжечке, и приехал для верности, на всякий случай: может быть, вы, достоуважаемый Тарас Кирилыч, что-нибудь до-ба-вите?» Засмеялся хохол, взял книжечку, ушел. Через минуту появляется. «Нет, говорит, тут ловко состряпано. Кое-что я, впрочем, до-ба-вил... Но печатать вы все-таки подождите трошки. Может быть, я через неделю вам другие цифры сообщу. До свидания».

Вышел я на подъезд, поглядел, – пять радужных. Мало. Тут, знаете, этот самый монастырский душевредный зверь и выстрелил в меня бомбой жадности. Приехал в редакцию – маг и волшебник меня ждет. «Ну, что?» – «Да ровно ничего, говорю, выслушал меня, посмотрел в книжку и вернул обратно: „Это, говорит, меня не касается“». – «Слушайте, крокодил, вы не врете?» – «Ей-богу, как честный человек!..» – «Ага, говорит, когда так... хорошо же. Я ему пропишу ижицу». На другой день закатил статью. Да ведь как ловко, шельма, сделал-то, ни фамилии не назвал, ни имени, а каждому младенцу ясно, что Дехтяренко в трубу летит. Ну, тут плохая штука вышла. Дехтяренко, как прочитал номер, взъерепенился и сейчас же к губернатору; губернатор редактора к себе вызвал, и в тот же вечер меня, раба божьего, из редакции – киш на улицу, к чертовой матери.

IV

Два года после этого я существовал, но чем? – ей-богу, до сих пор не знаю. Не платил за квартиру, – это само собой, – должен по кабачкам, бегал в ломбарды. А главное, жил займами. Знакомых пропасть было в городе, еще по газетному делу. Тут я глубоко постиг изречение: острить и занимать деньги надо внезапно. Встретишься с кем-нибудь на бульваре, поговоришь-поговоришь, а потом вдруг с таким небрежным видом: «Ах, кстати, нет ли у вас до завтрашнего дня рубля или двух?» Рубль – такие деньги, что ведь совестно не одолжить. И так, ничего не делая, умудрялся я не только не умереть с голоду, но еще каждый день к вечеру бывал в легком подпитии.

Изредка перепадала кое-какая работишка. Один профессор как-то пожалел меня, поручил мне привести в порядок его библиотеку и составить каталог. Славный был старикан, весь серебряный, красивый такой и доброты неопишуемой. Месяцев семь я у него устраивал библиотеку, а как вздумал он однажды ее проверить, – так и ахнул, бедняга. Заплакал даже. «Хоть скажите мне, говорит, ради бога, кому продавали? Я втрое, вчетверо дороже отдам, это ведь все редкости, единственные экземпляры!» Жалко мне его стало ужасно, сам я прослезился, только где же упомнить? Продавал все больше на толкучке из рук в руки. А то на вес.

Женщины меня тоже поддерживали. И вот судьба моя какая проклятая: все мне попадались бабы самые душевные, самые кроткие – даже между кухарками, торговками, номерантками, даже между обыкновенными панельными девицами. Почему уж это так выходило – черт их знает! Я не знаю...

Но все-таки жить приходилось со всячинкой. Узнал я ход в ночлежки. Раз ночевал я во Флоровском монастыре (вообще мне пришлось довольно-таки много потереться около разных богоспасаемых мест). Это хоть и женский монастырь, но есть там спальные учреждения для особ того и другого пола, в отдельности. Дворянское отделение стоит гривенник. Мы эту странноприимницу называли, по имени монастыря, отель «Флорида», а иначе – гостиница «Флоренция». Пришел я поздно, сильно дрызнувши. Там, знаете, этакая длинная стеклянная галерея, и направо все каморки, на четыре человека каждая. Мне показали свободную койку, я и лег.

Рано утром дворник всех будит, по положению. Я не выспался, голова трещит с похмелья, зол – как сто дьяблов. Смотрю, напротив меня копошится молодой человек, острижен ежиком, борода а-ля Анри Катр⁶, но белье на нем, с позволения сказать, заношено до последнего градуса. Я гляжу с неудовольствием: что будет дальше? Начинает молодой человек чистить сапоги. Чистил-чистил, кряхтел-кряхтел, наконец кончил: в сапоги хоть смотришь; потом принимается так же рачительно чистить пиджачок, желеточку; по-

⁶ под Генриха Четвертого – фр.

том вдруг вынимает из-под матраса панталоны; оказывается, он на них всю ночь спал. Я спрашиваю: «Это вы что же, юноша, для сохранности? Чтобы не украли?» Он смеется. «Нет, это я для того, чтобы фасон не терялся, лучше будут сидеть». Я говорю: «Не все ли равно, как, в нашем с вами положении, сидят панталоны? Была бы только чистая совесть и рюмка водки». А он смеется и спрашивает: «Что такое совесть? Ее едят?» Понравился он мне, вижу – человек не скучный, предлагаю ему спорхнуть вместе в трактирчик. «Я, говорит, вообще-то приемлю и даже очень, но по утрам боюсь, будет пахнуть, а мне на дело идти». – «Э, пустяки, возьмите чаю, пожуйте, и все пройдет». Стал он колебаться: «Разве что в самом деле чаю?» А сам тем временем оделся: манишку бумажную с гвоздя снял, воротничок чистенький, галстук черный с синими звездами, – смотрю, ах ты, черт! – прямо член паргокского жокей-клуба из журнала мод, и даже на панталонах спереди складки. Я говорю: «Вот так превращение!» А он только улыбается: «Нам иначе нельзя».

Слово за слово, закатились мы с ним в один кабачок, в другой, в бильярдную... Наконец вижу – иссякли наши фонды окончательно, и расплатиться нам нечем. Тогда он спрашивает, который час. «Четыре? Подождите меня с четверть часа». Шапку с дворянским околышком на голову и в дверь. Повесил я нос на квинту и говорю самому себе: «Ну, старый дружище, теперь центр тяжести перенесен на тебя. Очевидно, дело без участка не обойдется. Ловкий, однако, пассаж

устроил юноша». Но тем не менее жду. Спросил газету. Проходит четверть часа, и двадцать минут, и полчаса, и больше... Я уж успел даже все объявления перечитать: сбежал черный пудель, ищут репетитора... Признаюсь, упал духом. Лакей ходит мимо меня с самым наглым видом. Подойдет к столу и давай салфеткой у меня под носом скатерть обмахивать и посуду без нужды переставлять. Что делать? Набрал я уж было воздуха, чтобы счет спросить, как вдруг вбегают мой молодой человек. «Что? Заждались небось?» – «Н-да-а, признаться...» – «Ну, это пустяки. Человек, сколько следует?» – «Два двадцать». – «Дай еще бутылку красного вина и получи». Бряк – золотой на стол.

Сдружились мы с ним за этот день, а вечером он мне во всем открылся. «Дело мое, говорит, очень простое, хотя и не такое легкое, как кажется спервоначалу. Я – стреляю». – «То есть как это стреляете? Просите на бедность?» – «Н-нет, не совсем так. Просят на бедность на улице личности небритые, с сизыми носами и в рубище; для таких двугривенный – богатство Шехеразады. А вы сами посудите, кто же мне рискнет предложить двугривенный, если у меня форменная фуражка, чистенький костюмчик и вдобавок хорошая дворянская фамилия? Являюсь я прямо на дом, приказываю о себе доложить, представляюсь, как равный, за ручку. „Прошу извинить меня за беспокойство, временно нахожусь в стесненных обстоятельствах, со дня на день ожидаю получения места...“ и прочее и прочее... Как у него хватит духу дать

мне меньше рубля? Ни в жизнь не хватит».

Понравилось мне все, что он рассказывал. Попробовал и я на другой день эту тактику. Страшно было сначала, но ничего, понемногу обтерпелся, привык, и стал стрелять почем зря. Если бы не заболел, так бы и не отстал от этой жизни. Оно – и унижительно и опасно, но занимательно и всегда деньги в кармане – большие, легкие деньги.

Рассчитываешь всегда на психологию. Являюсь я, например, к инженеру – сейчас бью на техника по строительной части: высокие сапоги, из кармана торчит деревянный складной аршин; с купцом я – бывший приказчик; с покровителем искусства – актер; с издателем – литератор; среди офицеров мне, как бывшему офицеру, устраивают складчину. Энциклопедия!.. Лавируешь и скользишь, как змея, каждую минуту начеку, весь внимание: не сорваться, но переборщить, не впасть в нищенский тон. Все время смотришь ему в глаза, нет, и не в глаза, а в переносицу – так, по крайней мере, и сам неловкости не испытываешь, и ему кажется, что это у тебя такой прямой и честный взгляд бедного труженика, преследуемого судьбой. Главное – жди, пока он не сконфузится: за тебя, или за себя ему станет стыдно, или за свой роскошный кабинет. Самого твердого человека можно в конце концов так застыдить, что он глазами забегает и начнет рукой в кармане нащупывать портмоне. Тут сейчас же нажми педаль, тут уж не бойся перестараться. Все равно он тебе в душе не верит и гадок ты ему до последней степени, но уж

не дать он не посмеет, не решится. Здесь – психология.

Правда, бывали обратные случаи. Стрелял я однажды у члена какого-то не то Славянского, не то Балканского общества в Одессе. Нет, позвольте, не Славянского общества, а – я потом узнал – он сам какое-то общество затевал. Был он, кажется, чех, или хорват, или что-то в этом роде. Общество же его было такое: чтобы собирались в известные дни, по праздникам, дети и взрослые – по преимуществу из простого народа – в большое помещение и, между прочим, чтобы никому запрету не было: и студент, и офицер, и гимназистка может прийти. Нужно также высшее начальство заинтересовать, – хорошо, если губернатор посетит, архиерей, полицеймейстер; словом, идиллия под сенью деревьев. И чтобы все в этом обществе, под управлением этого самого далмата, пели бы песни – исключительно патриотические и духовно-нравственные. Ох, сильно я подозреваю, что все это духовно-певческое общество было не что иное, как та же стрельба, только в более широком масштабе. По крайней мере, известно мне наверное, что писал он постоянно письма разным высокопоставленным особам и все кланчил пособия на поддержку патриотической идеи.

Размахнулся я к нему. Ба-альшой, рослый барин, борода по грудь, лицо этакое открытое, благожелательное, лоб лысый. «Вы – председатель этого прекрасного, симпатичного общества?» – «Как же, я, я, я! Весь к вашим услугам». И обеими руками жмет мою руку. Начал я ему петь; пел-пел,

а он все ласковее становится и головой в такт качает, точно фарфоровый слон. Наконец говорит: «Все это прекрасно; я, конечно, готов, чем могу, но мне, простите, надо быть уверенным, то ли вы именно лицо, каким рекомендуетесь. Позвольте посмотреть ваш паспорт». Кольнуло меня что-то в сердце, но по неопытности и легкомыслию вынимаю из бокового кармана вид, – в стрелковом деле его всегда надо при себе носить, – подаю ему. Он моментально паспорт в стол, дринь! – ящик на ключ и пальцем в электрический звонок. «Даша! Сходите позовите сейчас же полицию!» Стал я его молить, на колени становился, руки его волосатые целовал – куда тебе! Заговорил я было с ним потверже, а он преспокойно вынул из другого ящика револьвер и положил перед собой. «Попробуйте», – говорит. Энергический мужчина. Пришлось мне тогда отсидеть два месяца за профессиональное прошение милостыни.

Но это был случай единственный. О других подобных я даже и не слыхал никогда. Потому что, – говорю это, как перед богом, положая руку на сердце, – потому что люди, если только их брать не гуртом, а по отдельности, большею частью хорошие, добрые, славные люди, отзывчивые к бедности. Правда, помогают они чаще не тем, кому следует. Ну, что ж поделаешь: наглость всегда правдоподобнее нужды. Чему вы смеетесь? За ваше здоровье!..

Потом, еще чем эта жизнь была приятна, так это свободой. Надоело в одном городе – стрельнул на дорогу, иногда

даже билет второго класса выудишь, уложил чемодан, – айда в другой, в третий, в столицу, в уезд, по помещикам, в Крым, на Волгу, на Кавказ. Денег всегда масса, – иногда я по двадцати пяти рублей в день зарабатывал – пьешь, женщин меняешь, сколько хочешь – раздолье!

Правда, приходилось временами поджимать живот. Бывало, приедешь в город, где все адреса испорчены: или слишком много стрелков съехалось, или некоторые пьяные являлись, или кто-нибудь влопался в полицию и попал в газеты, и – стоп! – не везет совсем. Жмешься, жмешься, из гостиницы в ночлежку переедешь, одежду лишнюю спустишь, белье... Тогда уж приходилось не брезговать на улице палить. Тут, я вам скажу, выработался шаблон. Надо стрелять быстро, чтобы не надоест, не задержать, да и фараоновых мышей опасаться, поэтому и стараешься совместить все сразу: и краткость, и убедительность, и цветы красноречия. Бьешь на актера, например: «Милостивый государь, минуту внимания! Драматический актер – в роли нищего! Контраст поистине ужасный! Злая ирония судьбы! Не одолжите ли несколько сантимов на обед?» Студенту говорю так: «Коллега! Помогите бывшему рабочему, административно лишенному столицы. Три дня во рту маковой росинки не было!» Если идет веселая компания в подпитии, вали на оригинальность: «Господа, вы срываете розы жизни, мне же достаются тернии. Вы сыты, я – голоден, Вы пьете лафит и сотерн, а моя душа жаждет казенной водки. Помогите на сооружение полдиковинки

бывшему профессору белой и черной магии, а ныне кавалеру зеленого змия!» Ничего... засмеются и дадут. Часто больше, чем ждешь!

Какие козыри между нами были! Один, например, по фамилии Заблонский: высокого роста, красавец, усы и бороду брил, лицо полное, нос орлиный – ну, точка в точку первый любовник со столичной сцены! Тот тысячи четыре в год наколачивал. И не пил, с женщинами не путался. Была у него слабость – шикарно одеваться. Сюртук всегда самый модный, фрак на всякий случай, коричневые перчатки, костюмчик цвета этакого электрик, трость с серебряным набалдашником, пальто сезонное балахоном. Гордится: «Я с пятнадцати лет своим родным ни копейки не стою». Удивительно, как он знал географию России! Бывало, назовешь ему для шутки какой-нибудь дрянненький уездный городишко, а он – моментально: «Стоит на реке Вихляди; вальцовая мельница, мукомол – светлая личность; председатель земской управы – такой-то, дает, но скупно; исправник свирепый, предводитель дворянства, когда трезв – гонит, пьяный – даст, сколько просишь». И так все подробности.

Чудной народишка! Были между нами такие, которые сами не стреляли, а только указывали адреса, служили вроде справочных книжек. Тот всегда выходит вместе с тобой на дело; идет по улице и вдруг начинает в нос бормотать, таинственно: «Направо каменный особняк, Шпехт Арнольд Карлович, архитектор; непременно *лично*; будет сначала ругать

скверными словами; не смущайся, уговаривай его, как верблюда; пятерка». Или: «Аристархов, Павел Павлович; дома не дает, надо ловить в земельном банке, от трех до пяти; не терпит длинных разговоров». «Гирчич, пароходчик, мимо; избитое место, ни одного пенса». «Маргарита Францевна Паули; прекрасная женщина; к ней надо письменно, отличным почерком и книжным языком; любит хорошую литературу». И так далее. Понятно, такому путеводителю полагается половина или треть, смотря по условию.

Были и такие, которые только писали письма для слабых в грамоте. Тут опять шаблон: «Премного всеми уважаемая, милостивая государыня! Ваше великодушное сердце и сострадательность к ближним, обездоленным судьбой, дают мне смелость» и прочее и прочее. Таких писем с собой носят на всякий случай пять или шесть, без имени, кому попадет. Иные при письме влагают свой паспорт и потом приходят за ним.

Были старички, которые в двух-трех местах получали ежемесячно пенсию и этим жили. Для такого старца главное – благообразная наружность, украшенная сединами. Да у них какие и потребности! Чай, табак, рюмка водки, газета – и больше ничего.

Был еще, помню, некто Богоявленский, из семинаристов; умнейшая, золотая голова, но на вид – чистый сапожник и притом косой. Тот, бывало, сидит целый день у себя в номере, в одном белье, и пьет, и пишет письма. А около него

всегда несколько человек ютятся для рассылки. Ах, как он писал! Прежде всего почерк – круглый, черный, – писал он тушью, – красоты неописанной и четкий, как самая крупная печать. А потом – слог. Делал он письмами чудеса. Известно, например, что духовную особу нет никакой возможности растрогать – это уж факт! Кремни. Мы их всегда избегали. А он закатит какому-нибудь архипастырю страниц восемь, да с текстами разными, да и тексты-то подбирал не такие, что «рука дающего не оскудеет» или «просите, и дастся вам», а, например, из «Премудростей сына Сирахова», из пророка Варуха, да еще в скобках обозначит: глава такая-то, стих такой-то. Блестящие писал письма и отказа не знал никогда.

Нет, денег никто не копил, все проживалось. Женщины – те иногда откладывали на сберегательные книжки, но и то до первого любовного увлечения. У женщин манера известная – стрелять на швейную машину. Помогают им иногда довольно крупно, но если хорошенькая – редко задаром.

Если хотите, пожалуй, и интересно. Но только сначала, а потом... Уж очень народ они сволочь, эти стрелки, хуже арестантов. У тех, по крайней мере, есть хоть какое-нибудь товарищество, дерзость, удаль есть. У этих – ничего. За рубль продадут и выдадут друг друга, напакостят, донесут, насплетничают. Завистники, лгуны, трусишки, жадные. Да и вообще я вам скажу: сколько я шатущего народа ни видал, нет хуже, как те, которые из образованных свихнулись: все эти корнеты отставные, пропившиеся студенты или вот еще

– актеры. Мразь! До сладенького куска охочи, а работу ненавидят всеми фибрами души. Что ж, я ведь и о себе здесь говорю, я правду говорю. Эх, не то, что настоящие бродяжки, по призванию. Тот лежит на солнце кверху пузом, и ничего ему не надо. Лопает воблу, черный хлеб с арбузом. Отлежался – пошел на пристань хребет ломать. Ему что: ничего он не боится, никого не уважает, никому не кланяется. И надо признаться, глядели они на нас, стрелков по профессии, как на гадов. Да что! Воришки мелкие, марвихеры, и те нас презирали. Тоже ведь и с ними приходилось в ночлежках встречаться.

V

Ну-с, попал я таким стрелковым порядком в Крым. Крым, знаете, да и вообще юг, это настоящее гнездо всех шатунов и аферистов; кто раз побывал там, того уж непременно опять туда потянет. Тепло, море, горы, красота, деньги кругом шальные. Оттого там всегда так и кишит бездельный народ.

Застрял и я. С одной стороны, с бабой связался, а кроме того, стала у меня идти кровь горлом. Вот я там и пустил корни.

Сначала везло мне, но вдруг оборвалось, Наступила зима, холодно, а я совсем ослаб, ночью потею, днем трясет меня, начну кашлять – чуть с ног не валюсь. Беда! Главное – сезон кончился, золотые овцы уехали в Москву, в Петербург, осталась только одна болящая голь. А местным жителям, аборигенам, так сказать, моя личность до тошноты примелькалась. Встречают сухо: «По-звольте-с, это опять вы? В четвертый раз? Извините, я не Вандербильт, чтобы всех содержать на субсидии. До свидания-с». Или иное что-нибудь в этом духе.

Женщина меня бросила. Красивая она была, бестия, горячая, злая, нетерпеливая, алчная, – одна такая мне за всю жизнь и попалась. Жить любила широко. Полька. Ее звали Зося. Напоследок оскандалила меня на улице, – рассердилась, что я ничего не достал. «Ты, кричит, стрелок несчастный, гадина острожная, дохлая падаль!» Ушла и домой не

вернулась.

Потерял я голову. Кое-как, по милости одного капитана, перебрался пароходом из Крыма сюда. Здесь пошло еще хуже, просто – шабаш! Зима суровая, хожу в летнем пальтишке, сапоги дырявые, от кашля корчусь в три погибели. А ветер с моря зажаривает, – ух! – так и шатает во все стороны. Как я жив тогда остался – удивляюсь! И хуже всего – всякую смелость потерял. Прошу – голос срывается, слезы душат. И тут-то я узнал, что на истинную, заправдашную нужду трудно найти сожаление. Настоящее горе всегда почему-то ненатуральным выходит. «Ты пьян, мерзавец, от тебя несет, как из погребца, ступай проспись». А я не то что не пил – не ел со вчерашнего дня.

Пошел я к доктору. Нарочно со злобы выбрал самого дорогого. И что вы думаете? – оказался распрекраснейшим человеком. Не говорю уже, что лечил задаром. Надо сказать, что на докторов мы никогда не жаловались. Если уж очень важный, то, бывало, скажет: «Эх, некогда мне с вами возиться, вот вам карточка, идите к моему ассистенту». Да еще вдогонку крикнет: «Постойте, куда же вы? Вам ведь деньги нужны? Натяните и проваливайте поскорее». А этот – просто душа-человек был, хоть и жид. Лечил даром, деньги давал на лекарство, костюмами снабжал, которые, знаете, второго срока. Пальто подарил теплое на шерстяной вате.

Стал я понемногу поправляться. Однажды мой доктор и говорит: «Слушайте, сэр, не все же вам без дела околачи-

ваться; у меня есть для вас в виду место. Хотите поступить конторщиком в „Южную звезду“?» – «Помилуйте, с руками, ногами!» – «Ну, так отправляйтесь туда завтра к одиннадцати часам, спросите хозяина и скажите, что от меня пришли. Он уже знает».

Поступил я в гостиницу и немного вздохнул. Обязанность легкая – сиди и пиши отъезжающим счета. Жалованья двадцать пять рублей, стол, чай – хозяйский, номер, правда, под лестницей, как у Хлестакова, но все-таки номер, свое логово. Оглядевшись, я еще несколько на счетах наживал. Делалось это очень просто: жильцу пишешь счет преувеличенный, а в книгу заносишь настоящий – разницу себе. Недоразумения выходили очень редко. Случалось, вломится в контору какой-нибудь ольгопольский помещик в парусиновом балахоне и начинает делать гармидер, а ты ему моментально с любезной улыбкой: «Ах, да неужели? Такому почтенному гостю? О, это мы сейчас же расследуем... Знаете, сто двадцать номеров, суматоха...» Заговоришь его, он и размякнет.

А все-таки положение было довольно уютное. Стал я понемногу оглядываться вокруг себя и вдруг вижу, что лакеи в сто раз лучше моего живут. Худо-худо четыре-пять рублей в день зарабатывают, а то шесть, семь – даже десять, при удаче. И надо отдать справедливость, ко мне они относились довольно-таки санфасонисто⁷.

Подумал я, подумал, и вот как-то раз освободилась одна

⁷ бесцеремонно – фр.

лакейская вакансия, пошел я к хозяину и попросился. Тот сначала было глазами захолопал. «Помилуйте, вы – бывший офицер, вам ведь „ты“ будут говорить: да, знаете, и мне будет неловко с вами обращаться, как с официантом, а делать разницу – вы сами понимаете – неудобно». Но я его успокоил тем, что открыл ему часть моей жизни – не самые, конечно, темные места, но все-таки рассказал кое-какие приключения. Согласился. Умный был мужик.

На первых порах крепко меня лакеи утесняли: все-таки вроде как благородный, был офицером, недавно в конторе барином сидел. Но ненадолго. Во-первых, я и сам с острыми зубами, а во-вторых, есть у меня дорогая способность: во всякую жизнь вживаться. И еще чем я внушил им уважение – это познаниями по судебной части. У лакеев постоянно дела у мировых судей и в съезде. Все больше в области дебоша и неуплаченных счетов.

Трудно также было привыкать к службе. Лакейское дело только с виду кажется таким легким. Прежде всего целый день торчишь на ногах – бывают дни, что и присесть некогда. Старые лакеи меня, впрочем, с самого начала учили, что лучше и совсем не садиться, а то разомлеешь и весь разобьешься. Первое время, когда я приходил домой, так ныла спина и ноги, что хоть кричи.

Потом память нужна особая: на какой стол подаешь, что на кухне заказано, сколько марок за буфет надо отдать, а когда счет потребовали, надо все сразу вспомнить. Перепута-

ешь – сердятся.

Но и тут я скоро освоился и стал работать не то что не хуже, а даже лучше других. Страшно меня полюбили постоянные гости, особенно те, которые в кабинеты ездили с порядочными дамами. Должно быть, оттого, что был я в жизни все-таки поопытнее прочих. Знаю свое дело: глаз не пялю на даму, без дела в кабинет не лезу, у двери не торчу, держу себя скромно и свободно. Другой и старый официант, зубы проел на лакейском занятии, а не понимает, как в этих случаях надо служить. Ведет себя каким-то заговорщиком, чуть не подмигивает. Лезет без спросу занавески спускать в окнах. «Мы, мол, понимаем, для чего вы приехали. Понимаем, но молчим». Ну, а я всю эту политику скоро постиг. Любили меня и те компании, в которых широко кутили. Бывало, навезут певичек, шансонеток этих самых. Такие безобразия делают, что другой только плюнул бы, а я ничего – служу, точно вокруг меня не люди, а неодушевленные предметы. И мои гости так обыкновенно и говорили официантам: «Нет, голубчик, на тебе лучше на чай, а ты ступай и позови сюда служить Андрея, мы к нему привыкли».

Когда у нас в гостинице кончались ужины, то у буфета оставался только один дежурный лакей, на случай если из номеров что потребуют. А мы, большею частью, фраки в узелки и уходили в ресторанчик «Венецию» посидеть час-другой, поиграть в карты и на бильярде.

Как мы там с прислугой обращались, боже мой! Развалим-

ся на стульях, ноги чуть не на стол положим. «Эй, ты, лакуза! шестерка!» Других и названий не было для служащих. «Не видишь, с... сын, кому служишь? Какой ликер принес? В морду вас бить, хамов». Тот, конечно, видит, что над ним кочевряжится свой же брат, холуй несчастный, но, по должности, молчит. И на чай при этом мы давали туго.

Ух, как мы господ промеж себя чихвостили, которые к нам в ресторан ходили. Да ведь и то, правду сказать, господа думают, что мы – вроде манекенов, ничего не видим, не слышим и не понимаем. А от нас ничто не скроется. И кто на чужой счет выпить любит, и кто деньги тайком от товарищей в узелок платка завязывает или потихоньку в башмак опустит, и что один про другого говорят в отсутствие. А уж если дама в кабинет пришла сначала с одним мужчиной, а потом с другим, то, будьте покойны, мы отлично разберем, который муж и который так. И не было у нас для них других слов, как сволочь, шантрапа и прохвост.

Еще у нас был любимый разговор о хозяевах гостиницы: как кто из них пошел в гору. Вот где я узнал настоящие «Тайны мадридского двора»! Что ни имя – то преступление: грабеж, убийство или еще хуже.

Не угодно ли, вот вам коллекция. Ищенко: отель «Берлин», первоклассная гостиница, в ресторане по вечерам играют румыны, двадцать тысяч чистого дохода. И сейчас же историческая справка: служил швейцаром в публичном доме, через три года открыл темный кабачок, через пять –

«Берлин», теперь держит своих рысаков на бегах. Замечательно, что именно в том доме, где он был швейцаром, видели в последний раз помещика Оноприенко, который – может быть, помните? – исчез бесследно. По этому поводу держали Ищенко шесть месяцев в тюрьме, но выпустили по недостатку улик.

Цыпенюк и Лещенецкий. Один держит буфеты на пароходах, другой – гостиницу «Варшава». У обоих собственные дома. Цыпенюк – гласный. У Лещенецкого – содержанка венская этуаль. А раньше оба служили коридорными в «Киеве». При них один купец из Москвы скоропостижно скончался в номере и как будто не по собственному почину. Цыпенюка схватили, – царапины у него оказались на руках и на лбу, – мариновали в остроге полтора года, но ничего не могли с ним поделывать: уперся, как бык. Тоже выпустили.

Теперь – Казимир Хржановский. Сад «Тиволи» с кафе-шантаном. Ездит на автомобиле. Занимался сводничеством; трех своих сестер пустил в оборот, каждую по пятнадцатому году, чем и положил основание дальнейшей карьере. Нагурский был на содержании у шестидесятилетней старухи. Малиевич – меблированный дом на Большой Дворянской, триста номеров – то же самое, только еще хуже, стыдно говорить, И так далее. Словом, все «Уложение о наказаниях» в лицах. Да и вообще, должен заметить, что я в эти рассказы о мужичках-простачках, которые приходят в столицу с лаптями за спиной, а умирают в тридцати миллионах, – я

в эти рассказы плохо верю. В фундаменте таких внезапных богатств лежит всегда мошенничество, если не кровь.

Вы думаете, мы их осуждали? О, наоборот. Только, бывало, и слышишь: «Эх, молодчинище, как ловко обтяпал! Чего зевать? Дай мне в руки такой случай, я бы и сам по голове кокнул!» Разгорались мы все, когда об этих вещах говорили.

VI

Особенно один. Был у нас такой официант, Михайла, хохол... Виноват, господин буфетчик, сейчас кончаем. Пожалуйста, господин, меня он не послушает, а вы попросите у него еще одну бутылочку, последнюю. Скажите, что, мол, единым духом. Сейчас и истории моей конец...

Вот так. Мерси. Чего ты, болван, на часы вылупился? Слышал – хозяин разрешил. То-то!

Ире гезундхейт!⁸ Был этот Михайла человек сложения жидковатого, характером – меланхолик, по происхождению – из Мазеп. Обожал до безумия церковные службы; все, бывало, мурлычет: «Изра-иллю пеше-ходя-ашу». Говорить много не любил, но когда эти разговоры пойдут, его и силой не оттащить. Да как, да что, да куда деньги спрятали – даже надоест иногда. И глаза станут черные такие, масляные. Служил он лакеем в первом этаже.

Почему я так ему понравился, уж не умею сказать. Должно быть, общая у нас судьба была, и потому тянуло нас друг к другу. Стали мы с ним как будто от прочих товарищей уединяться. И все у нас разговор об одном, все об одном. И наконец мы оба в этих разговорах последний стыд потеряли. Некоторым образом вроде как голые ходили друг перед дру-

⁸ Ваше здоровье! – нем.

гом. Настоящего слова еще не сказали, но уже чувствовали, что нам даром не разойтись.

А я к тому времени опять прихварывать начал. Перемогался изо всех сил. Случалось – подаю на стол, вдруг как забьет меня кашель. Сначала держусь, а потом, когда не станет возможности, брошу приборы на стол и бегом в коридор. Кашляю, кашляю, даже в глазах потемнеет. Этаких вещей ведь в хороших ресторанах не любят. Ты, скажут, или служи, или ступай в больницу ложись. Здесь не богадельня. У нас публика чистая.

Так и я чувствовал, что мне вот-вот по шапке дадут. И думал я: опять улица, холод, клопы в ночлежках, конская колбаса, грязь, гадость. Кстати, и моя Зоська ко мне вернулась в эту пору, – пронюхала, гадюка, что из меня опять можно деньги сосать. Есть деньги – она спокойна, ласкова, даже чересчур ласкова, так что неволю бывать, а нет – кричит мне при соседях: «Лакей вонючий! хам! шестерка! продажная тварь!» Только у ней тогда и оказывалось слов.

Самое тяжелое это время было в моей жизни, на что уж я, кажется, сквозь всякие горнила протлел. Бывало, в мой выходной день брожу по улицам и мечтаю: вдруг кто-нибудь бумажник потерял, а я найду, а в нем три тысячи... Или вдруг подходит ко мне старенький, добренький миллионер и спрашивает с участием: «Почему у вас такой грустный вид, симпатичный молодой человек? Скажите откровенно, что вас тревожит? Может быть, я смогу помочь вам?»

В это время и приехал к нам в гостиницу этот человек, царствие ему небесное. Что? Странно вам, что я крещусь? Нет, вы не думайте: я к ночи в господа бога очень верую. Днем, правда, впопыхах и в пьянстве, забываю его, моего благодетеля.

Рассказывать ли дальше? Неприятно вам это будет, тяжело?.. Ну, если так, буду продолжать по порядку.

Был он крупная шишка. Управлял какими-то имениями в Крыму и на Кавказе; на Волге, под его начальством, состояло более двадцати тысяч десятин, кроме того, что-то орудовал с нефтью и с железом. Видел я его каждый день. Утром, бывало, выйдет к завтраку – в час или в два, – просто страшно на него смотреть. Огромный, опухший, лицо земляное, под глазами черные мешки, а глаза оловянные, бессмысленные, чуть не выскакивают наружу. Дышать ему очень трудно было; что-то такое делалось у него с легкими или с сердцем, – кажется, была грудная жаба. Ляжет грудью на стол, локти растопырит и дышит не то что горлом, а спиной, и животом, и головой. Набирает воздуху – голову и грудь подымет кверху, рот раскроет, а как выпустит воздух, так весь и рухнет опять на стол. Так и трепыхается, бедный, с полчаса. Но ничего: ошарашит перед завтраком сколько-нибудь водки, бутылку гретого красного вина, глядишь – и поправился и повеселел.

Крупные он, должно быть, дела делал, и все с шуточками, с приговорками, за обедом, за шампанским. Но и в карты

сильно играл и развратничал широко. Щедрый был. Много от него нашему брату перепало.

Остановился он в четвертом номере, у Михайлы, в бельэтаже, и странно, – с этих пор у нас с Михайлой нашу дружбу – чик! – точно ножом отрезало. Охладели друг к другу – и шабаш. Только раз, помню: кончил я службу и иду вниз по лестнице, а он меня сверху кличет: «Андрей!» Гляжу, он через перила перевесился и манит меня пальцем. И лицо все у него кривится, как у дьявола: не то смеется, не то нарочно рожи строит. Я поднялся к нему, спрашиваю: «Что?» А он говорит: «Вчера Николай Яковлевич (это так номера четвертого звали), вчера Николай Яковлевич пьяный вернулся, и, когда лег, сейчас же захрапел, и двери не успел запереть. Я его толкал, толкал: „Не угодно ли, мол, раздеться?“ „Куда!“ Понял я, поглядел на Михайлу, он на меня. „Так что же?“ – шепотом спрашиваю. А он этак, с растяжкой: „Да ничего-го“. – „Прощай, говорю, Михайла“. А он опять так же лениво: „Прощай, Андрей“».

А потом и случилось это самое. Подал я вечером в красный кабияет устрицы, матлот из налима и какое-то белое вино и стою в коридоре около часов. Было четверть первого. Вдруг точно меня кто-то сзади толкнул в спину. Обернулся, гляжу – в конце коридора стоит Михайла. Лицо белое, – такое белое, что от манишки не отличишь. Стоит – и ни звука. И знаете, – удивительно: сразу я понял, в чем дело. И ни он мне не сказал ничего, ни я ему. Но заметил я, что у него на

руках белые перчатки.

Он впереди шел, я сзади. Подошли к номеру четвертому. В коридоре ни души, и уж лампы потушены. Я шепчу ему: «Тише!» А он нарочно со всего размаха как дернет дверь! И сейчас же меня вперед пропихнул и запер дверь на ключ.

Темно было в номере, – так темно, что я Михайлу сразу же потерял, да и сам не могу понять, куда я попал, где двери, в какую сторону идти? Заблудился. Вдруг слышу – чиркнули спичкой, огонь. Гляжу, Михайла в комнате около зеркала зажигает свечку; думаю: «Что же он, болван, такое делает?» А он со свечкой моментально на перегородку в спальню. Слышу, говорит: «Барин, а барин, Николай Яковлевич, извольте раздеваться, неудобно вам так будет. Позвольте, я вас в кроватку уложу».

Помолчал немного и вдруг опять: «Эй, ты, бугай черкасский, вставай! А то как дам каблуком в живот!» И опять тихо, только слышать, дышит барин тяжело так, с натугой. Вдруг Михайла зовет меня: «Андрей, поди сюда».

Вошел я за перегородку. Лежит Николай Яковлевич на спине, живот огромный, как гора, рот раскрыт, и по бороде слюни потекли, одна нога на кровати, другая вниз свесилась. Ох, как же он дышал! Видали рыбу, когда ее на берег вытащат? Точь-в-точь. Видно, попадала ему в легкие всего одна чайная ложечка воздуха, так он ее ртом, и носом, и горлом... Стонет, кричит, нудится, и лицо все искривилось, а проснуться не может...

А Михайла опять: «Просыпайся, что ли, нечистая душа! Вот мы вдвоем пришли тебя раздевать!» Да с этими словами моментально хватя у него одну подушку из-под головы. Тот ничего, только головой, как теленок, мотнул, всхлипнул и опять давай воздух ловить. Обернулся ко мне Михайла, страшный такой, точно зверь. «Садись, говорит, на ноги и держи». А сам подушку ему на лицо и – навалился.

Что Михайла делал, я не видал, не знаю: спиной он ко мне был. Помню, дрыгнул барин ногами раз, два, три, но совсем слабо, потом как будто икнул один раз, – и все. Должно быть, и сам не заметил, как умирал. Был я точно в оцепенении. Чувствую, тянет меня Михайла с кровати: «Слезай!» Встал я, ничего не понимаю! Вижу, Михайла шарит по комодам, по столам, в одежде; вижу, Николай Яковлевич лежит уж на двух подушках и ноги вместе, точно спит, а я, как идиот, ничего не понимаю. Помню только, что в другой комнате все какой-то стакан дребезжал: должно быть, ехала по улице телега.

Потом стало опять темно... Михайла мне шепчет: «Пойдем... кончено...» У меня ни страха, ни жалости, – одеревенел весь. Подошли к двери, послушали – тихо, вышли в коридор – никого! Поглядел на меня Михайла и говорит: «Эх, дурень, на что ты похож! Иди ко мне в буфетную, выпей водки». Я ушел, а он еще остался в коридоре.

Знаете, сколько времени это все заняло? Восемь минут! Меня даже ни в одном кабинете не успели хватиться. Я на-

рочно в оба забежал и спросил: «Не вы изволили звонить?» – «Нет, говорят, мы не звонили». И ведь сложилось же так: ни один официант не заметил, что я уходил. И весь этот вечер я служил точно заводной автомат, даже не сбился ни разу, даже не кашлял.

Не сердитесь, господин хозяин. Сейчас уходим. Вы себе гасите лампы, мы сейчас.

Все равно мне осталось два слова. Пришел я домой. Зоська, по обыкновению, на меня наскочила было с руганью, но мне – можете себе представить – все равно, точно машине! И она вдруг притихла. Разделась молча и легла около меня и ко мне прижалась. И долгое время я чувствовал, как ее ресницы мне лицо щекотали.

Спал я в эту ночь чудесно. Даже ни разу не проснулся. Это уж потом, в тюрьме, мне все мерещилось, как его ноги у меня под руками дрыгали и как рядом стакан дребезжал... Зато как утром проснулся, так и ошалел от ужаса. «Господи, думаю, да неужели же *это* было не во сне? Ведь человека, человека мы убили с Михайлой!» Оделся я.

Уходим, уходим, не раздражайтесь. До свидания, хозяин. Спасибо вам...

Эка, какой ветрило! Брр!.. Что, не надоел я вам своими приключениями? Ну, я сейчас кончу.

Оделся я, вышел на улицу. Было утро раннее, часов шесть-семь. На улицах никого не было. Толкнулся я к Михайле – говорят, дома не ночевал, должно быть, в гостинице

остался. В ресторан мне идти рано, да и не могу туда идти – противно. Ходил я, ходил по городу. Отворили турецкие кофейни, там посидел, чашку кофе выпил черного. Гляжу на людей и думаю: «Все, все вы счастливые, у каждого свое дело, у каждого чистые руки... а я!»

Потом пошел на бульвар. Солнце взошло. Сыро на дорожках. Гимназистки идут в гимназию – маленькие болтушки, личики свеженькие, только что вымытые... Сел я на скамейку и задремал. Вдруг вижу, идет городовик и этак сызбоку на меня посматривает, точно ворона на мерзлую кость. А у меня сейчас же мысль: «Подозревает»... Подошел он ко мне. «Сидеть, господин, на бульваре каждому дозволяется, которые проходящие, этого мы не запрещаем, а чтобы спать – нельзя. У нас пальцимейстер. Строго».

И что тут такое со мною случилось, – я до сих пор понять не могу. Встал я со скамейки и говорю ему: «Городовой, веди меня в участок, я этой ночью человека убил».

Не поверил он сначала. «Иди, prospись. Вино в тебе вчерашнее бродит!» Подумал я было одну секунду: «Может быть, это сама судьба благоприятствует? Уйти разве?» Но почему-то не смог уйти. Отвел он меня.

Вот и все. Михайла упирался сначала, но под конец не выдержал, сдался. Улик против него никаких не было, кроме меня. Ох, какой же твердый человек он был! Представьте себе, пока я ходил к нему водку пить, что он сделал. Гостиница у нас была хоть первоклассная, но старинной построй-

ки, и на дверях еще оставались внутренние крючки. Так он, прежде чем уйти, поставил крючок стоймя да как дверью-то хлопнул, так крючок и запал сам собой в петлю. Руки у него осматривали – ни одной ссадины: недаром он перчатки тогда надел. Словом, не признайся я, никогда бы на нас и подозрения не пало.

Защитник у меня был знаменитый, из Петербурга. Он так и говорил: «Во всех действиях подсудимого видна бессмысленность, слабоволие и слабоумие. Его одинаково можно вовлечь и в хорошее и в дурное». Здорово он во мне разобрался – до нитки. И про отца вспомнил, и про Юшку, и про разные мои болезни, и про Зоську. Меня оправдали, а Михайлу, как главного зачинщика, а также за его упорство, закатали на шесть лет. Держали меня потом полгода в сумасшедшем доме, но решили, что я хоть и не того... психически... но безвреден, – и выпустили на волю. Вот и все.

Я знаю, господин, что таких вещей вообще не рассказывают, и теперь поэтому нам с вами дорога: если вам налево, то мне направо, и наоборот. Вы уж не сердитесь, но я еще раз злоупотреблю вашей гуманностью. Знаете: ночлежка, завтра рюмку водки, пожевать что-нибудь... О, куда же мне так много!.. Ну, а впрочем, мерси бьен⁹.

Куда я пойду? Да пока что на улицу. Я – человек с улицы. Не скрою от вас, что, по щедротам вашим, завинчу сегодня в какую-нибудь веселенькую трущобку. Вы говорите – под-

⁹ очень благодарен – *фр.*

няться? Э-эх, что там! Мой цикл свершен окончательно, и никуда мне больше нет ходу, кроме улицы.

Знаете ли-с... Позвольте, я вам краткую притчу... Все мы у господа бога нашего квартиранты. Но одни занимают бельэтаж и платят за десять лет вперед, и старший дворник при виде их не знает, как ему лучше кувыркнуться. Другие живут себе под крышей, но честно, аккуратно, и просрочку считают для себя несмываемым позором. Есть и такие, которые самовольно контракт разрывают, – это уж прямо скандалисты... А есть и такие, вот и я в том числе, которые и денег не платят, и осточертели всем до черта, а выжить их с квартиры никакими силами нельзя.

Вот так-то-с... Однако что же это я вас на холоде держу? Простите великодушно...

О резервуар¹⁰, мусью, как говорят французы, и глубокое вам мерси.

Чувствую, в темноте чувствую, как вы тревожитесь: «Протянуть ему руку или нет?» Пожалуйста, не беспокойте себя пустяками. Что за предрассудки? Ну-с, желаю вам... У, какой дьявольский ветер!..

¹⁰ До свиданья – *искаж. фр.*